
Полина МИХАЙЛОВА

БОЛЕКОНВЕРТЕР

Рассказ

#1

В ночь, когда мы приехали в Иерусалим, мне ничего не снилось. Такое бывает редко, вернее даже, такого почти никогда не бывает. В это широкое, как стены квартиры для слепого, «почти» вместилось и наше 31 июля.

Мы беспокойно спали в электричке: Ошер крутилась и скулила, прижимаясь к моим шлепанцам и цепочке на щиколотке, а мама что-то писала в тетради. Нет, неверно сказать, что мне ничего не снилось. Мне снилась разрушительная, оглушающая пустота, полное отсутствие интенций и возбуждений, такое хайдеггеровское безымянное ничто.

Когда наш поезд остановился на центральной железнодорожной станции, было уже раннее утро. Меня разбудил детский смех, и я выглянула в окно. Город окрасился в пастельные цвета: разве в пять утра кто-то очень большой не надевает на город бледно-розовую линзу, чтобы все становилось изящнее и живее? Я прислонилась лбом к коралловой занавеске, которая висела в нашем купе, и увидела через оконное стекло ребенка. Девочка, совсем еще маленькая, лет пяти, в юбочке цвета одуванчика, сидела на скамейке посреди перрона и, поставив на колени кремовый пластиковый контейнер, резала ножом яблоки. В двух метрах от нее курил седой мужчина. Это, вероятно, был ее папа. Мне показалось удивительным то, как ловко девочка обращается с ножом: яблоки были мелкими и запросто вместились в ладонку; она брала их из контейнера, нарезала продолговатыми полумесяцами и клала обратно. Изредка она надкусывала дольку и, повертев ее в руке, долго разжевывала. Наш поезд издал истошный гудок, такой, какой всегда издают поезда, прибывая на станцию. Девочка тотчас же подскочила и подняла ладошки, чтобы закрыть уши. Она забыла про то, что держала в руках очередную яблочную дольку и ножик. Буквально в то же мгновение, когда она поднесла ладони к лицу, на ее шее и щеке заалел мясистый кровавый порез, забрызгав яблоки в контейнере сгустками клубничного джема. Ее отец обернулся. Уильям Джеймс писал, что мы плачем не потому, что нам плохо, а потому, что нас жалеют — но девочка, искаженная мучительной гримасой, продолжала смеяться.

«Как же ей больно, если она даже забыла остановить смех! — подумала я. — Мы привыкли к физическим недомоганиям, к тому, когда кожа ноет от порезов, а у нее это, возможно, сегодня впервые». Я еще раз посмотрела на город и увидела, как бледно-розовая линза медленно снимается с него чьей-то незнакомой гигантской рукой.

Полина Александровна Михайлова родилась в Москве в 2002 году. Окончила философский факультет МГУ им. Ломоносова. Стихи и проза печатались в журналах «Кольцо А», «Изящная словесность», «ЛИтега». Автор сборника стихотворений «Ранка на ладони» (Оренбург: ИД МВГ, 2022).

Проехав несколько остановок на трамвае, мы вышли.

Балкон гостиницы «Шук», на котором стояли железный стол, горшок с петуньями и тонкая алюминиевая пепельница, выходил на рынок Махне Иуда. Возможно, оттого наша комната и была такой недорогой. Круглые сутки в комнате было шумно: своды потолка, как зеркало, отражали каждый звук, доносящийся с базара, — но это был однотонный, неразрушительный шум. Мы планировали пробить здесь минимум три дня: все зависело от того, сколько времени нужно будет Ошер, чтобы оправиться после операции.

Ошер на иврите означает «счастье». Так называли нашу собаку, шелти, еще в приюте, когда ей не было и двух лет. За семнадцать лет моей жизни мы ни разу не расставались более чем на неделю. И более чем неделю Ошер ничем не болела. Мы стали отпускать ее одну на улицу чаще, переехав в приморский городок Хайфа, но вскоре после таких прогулок она стала возвращаться домой с травмами. После драки с более сильными и молодыми собаками мы не разрешили ей выходить совсем. Однажды, когда она убегала от шакалов, которых нередко можно встретить у подножия горы Кармель в городе Хайфа, один рыбак не уследил за тем, как Ошер запуталась в просушиваемой им рыболовной сетке. Собака вырвалась, но ей практически оторвало хвост. Рана зажила, однако вскоре у Ошер очень быстро развилась гангрена хвоста. Мама, по странному и никогда не проговариваемому вслух убеждению, не доверяла лечение нашей собаки никому, кроме старого знакомого врача по имени Нидаль, друга по национальности. Он проводил операции на дому, и мы приняли решение сделать ампутацию хвоста Ошер у него, специально приехав в Иерусалим.

Теперь Ошер стояла напротив меня и тихо лакала воду из миски. Ее тошнило. Сейчас больше всего на свете я мечтала забрать у нее эту боль, точно так, как она забирала все мои опасения и тревоги на протяжении семнадцати лет.

Осмотр и операция были назначены на два часа, а значит, у меня оставалось время, чтобы купить несколько бутылок воды и приготовить что-нибудь на завтрак. Моя мать Вита, худая бледная женщина с тревожной мимикой и золотыми волосами, читала лекции по английской поэзии в Хайфском университете. Ей нравилось то, чем она занималась, но последние десять лет ее жизнь лейтмотивом пронизывал замысел издать записи студенческих семинаров, которые полностью замещали бы авторские лекции. Мама на износ работала над книгой, постоянно корректируя ее и дополняя. Я не знала тонкостей английской литературы, а тем более особенностей английской поэзии шестнадцатого века, но лишь видела, насколько изнуряющим был труд мамы: изнуряющим оттого более, что на первый взгляд он не казался таким.

Я вышла из гостиницы. На часах было почти семь утра, и некоторые торговцы уже протирали деревянные стойки под вывесками своих лавок влажными лохматыми тряпками. Старый араб с косолапой тележкой только что испеченных иерусалимских бейгелахов рассыпал затр посреди небольшой развилки в центре рынка. К арабу я и подошла. Он продал мне три бублика, немножко затра и указал, где в такую рань можно купить лимон, воду, зиру и нут. Эта лавочка была совсем рядом, оставалось только пройти рынок насквозь. Я поспешила на кухню в гостинице, чтобы успеть приготовить хумус.

На крошечной кухне висели фотографии вильнюсского гетто. Я удивилась этому. Впервые подобное казалось мне уместным! Символ гетто — не желтая звезда на ветхой одежде и не ограждение, а кастрюля. Она была в руках у каждого. Евреев не нужно было уничтожать специально — в гетто они погибали сами от эпидемий и голода, употребляя, по плану нацистов, сто восемьдесят четыре калории в день. Думая об этом, я не заметила, как вошла мама и обняла меня за плечи. Наверное, это было самое замечатель-

ное из всех ее движений — когда она обнимала меня за плечи сзади: мама будто бы забирала всю мою боль, пусть и почти ничтожную, робкую, семнадцатилетнюю. Фотографии на стенах накрыли едва проницаемые блики солнца. На маленькой неубранной кухне стало красиво и чисто, и мы не заметили, когда солнце уже залило ее всю — как будто оно сидело за столом рядом с нами.

Квартира врача находилась недалеко от противоположного конца рынка. Около половины второго мы надели на Ошер ошейник и вышли.

#2

Воздух пах ребенком и лавандовым кремом. Вообще воздух в Иерусалиме для каждого разный. Я не знаю, как пахнет ребенок — у меня нет ни братьев, ни сестер, — но почему-то тогда мне казалось, что именно так и никак по-другому. Мама чувствовала аромат затра и тмина, а Ошер... Я бы очень хотела, чтобы после операции она снова могла понимать, что чувствует. Мамины коллеги часто с неведомой мне уверенностью спорят о том, могут ли животные осознавать себя. Большинство из них склоняется к тому, что все-таки нет. Мне же кажется, что так может утверждать лишь человек, ни разу не смотревший в глаза собаке, которая старше его вселенной на целый год.

Врач сказал, что нам нужно подождать всего полтора часа, и чтобы не слоняться по раскаленному асфальту (хотя по сравнению с влажным низинным климатом Хайфы иерусалимский кажется сказочно свежим), мы можем подождать прямо на балкончике его квартиры. Нидадь выдал нам ключи и пачку сигарет «Lucky Strike», что показалось маме — человеку, занимающемуся поиском метафор и поэзии не столько в словах, сколько в событиях — ироничным и даже занимательным. Балкончик — на котором не стояло ничего, кроме этажерки с пепельницей и фотографии жилистого, румяного молодого человека в военной форме, сына Нидаля — запирался на небольшой, скорее символического, чем практического предназначения замок. Иерусалимский воздух смешался с еле ощутимым виноградным ароматизатором сигарет: мама курила по-настоящему, а я лишь постольку, поскольку стояла рядом.

Я очень волновалась: мы не представляли жизни без Ошер. Я не знала, каково это, когда Ошер не существует, просто потому, что всю мою жизнь она существовала.

При мысли об этом у меня начинала кружиться голова. Я перегнулась через черные железные перила в форме нескольких лебедей, обнимающих балкончик, и посмотрела на тротуары, над которыми поднимался туман из жара, пыли и влаги. Вдруг, то ли от испуга, то ли от поднимавшегося к горлу запаха табака, мои руки разжались и грудь качнулась вперед. Шершавая мамина рука схватила меня за локоть:

— Пройдись, родная, не стой. Зачем тебе стоять здесь, со мной, полтора часа? Все будет хорошо, просто Ошер тоже сейчас очень жарко.

Я посчитала это хорошим предложением, даже несмотря на то, что сама этого не хотела. Оставаться на балкончике означало простоять в густой дымке из горячего воздуха и табака и непременно потерять чувство времени. Нужно было спуститься вниз, к рынку.

Когда ждешь, но не можешь ускорить время — прибегаешь к самому сокровенному, плохо перекладываемому в слова, но при этом самому отчетливому. В такие моменты я люблю искать вещи из своих снов. Поиск этих маленьких деталей, которые раньше казались фоном, но теперь становятся целью, — одно из самых успокаивающих занятий. Что для этого подходит лучше, чем рынок Махне Иуда? Сегодня мне следовало искать кулончик из голубого опала, который был в одном из снов, три дня назад, в Хайфе: я говорила с женщиной, глаза которой были пустыми и грустными, и смо-

трела на то, как она дышит, поднимая и опуская грудью крошечный бирюзовый кулончик в форме звезды Давида.

Я миновала арку, перешла через дорогу и очутилась внутри многоголосой толпы торговцев, покупателей и тех, кто называл себя фланером, не имея под этим в виду ничего уместного или мудрого. Рынок ожил. О, как непохоже все здесь было на то, что я видела утром! Сейчас, днем, Махне Иуда позволил себе вспыхнуть, как самоцветы в надушенной бабушкиной шкатулке; как столетник, который цветет раз в сто лет. Однако вышло так, что в Иерусалиме каждые сутки происходит столько невероятного, сколько в других городах может произойти за целый век. Тропинки базара то сужались, то расширялись, то образовывали перекрестья с параллельно идущей торговой улицей, более блеклой и более широкой. Прилавки полнились украшениями из камней и перламутра, посудой с яркой росписью, фруктами, халвой и кнаффе — распространенной в Израиле арабской сладостью, часто едко-оранжевой. Идти по рынку Махне Иуда — все равно что смотреть фильм восточного режиссера по скандинавскому сценарию: только здесь можно найти ювелирный сплав пестроты с чем-то глубинным и возвышенным.

Вдруг что-то липкое и колкое больно хлестнуло меня по правой щеке. Оно было настолько горячим, что я не успела отвернуться от следующего удара, только уже не по щеке, а по виску, совсем близко к глазу. Тотчас же вслед за этим я почувствовала толчок и уперлась носом в мягкую ткань платка.

Тот, кто держал платок, уберег меня от тонкого раскаленного хлыста масла. Торговец в лавке со специями жарил куббе — котлеты из лука и бургула, которые не сильно популярны среди европейцев, но зато популярны на Ближнем Востоке, — и кипящие бледно-оранжевые масляные слезы пружинили от сковороды к узкому рыночному проходу. Я приложила ладони к лицу и почувствовала припухший ожог, растянувшийся от правой щеки до виска.

— Убирай свое масло, иначе я брызну в твою маму так, что будешь оттирать ее, как эту чертову скамью!

Я обернулась и увидела крепкого рыжего парня в кипе с шелковым платком в руках. Его волосы были точь-в-точь такого же цвета, как мои.

— Как рыжий рыжий, — сказал он и протянул мою сережку, которая зацепилась за платок.

— Спасибо, что закрыли. Но не думаю, что брызги масла в глаза помогли бы мне лучше разглядеть Иерусалим, — улыбнулась я ему в ответ.

Он опустил свои длинные рыжие ресницы и сделал самое восхитительное, что можно сделать, помогая кому-то, — не заметить этого. Парень в кипе поднялся за соседний прилавок по низким, почти сливавшимся с брусчаткой ступенькам и продолжил кричать, но уже не торговцу куббе:

— Платки из бразильского шелка! Мороженое и испанский чуррос! Попробуйте испанский чуррос в Иерусалиме! Не упустите такую...

Вскоре его голос и десятки других голосов слились в тот знакомый, однотонный, неразрушимый шум, и я забыла о времени, о кулончике в форме звезды Давида и об ожоге: помнила только, что Ошер сейчас было очень тяжело.

#3

Пока я бежала по лестнице в квартиру Нидаля, сердце (вернее, не сердце, а теплый, испуганный, но решительный комок) внутри колотилось: «Только бы у Ошер все получилось, только бы у Ошер...»

Все получилось.

Я узнала это сразу, заглянув маме в глаза: ее полупрозрачная, как пленка, кожа покрылась нежно-розовым румянцем. Нидаль сказал нам, что для собаки семнадцати лет у Ошер довольно сильный организм и поэтому все, что нам следует делать — это позволить ей полежать и давать антибиотики, как делают после любой, даже плановой, операции. Он добавил, что сделал для нас операцию бесплатно и единственное, что ему нужно — чтобы мы выполнили все указания.

Мы прощались с Нидалем долго, как прощаются обычно в еврейских местечках, а не в городах вроде Иерусалима (пусть городов «вроде Иерусалима» и не существует). Я вышла раньше. Ошер нужно было налить воды, чтобы она легче перенесла дорогу через людный рынок до гостиницы «Шук». Когда я вернулась с ее миской, наполненной водой из-под краника, который стоял на первом этаже, то услышала из-за двери тихий, но убежденный в своем отчаянии голос: он был настолько незнакомым, что я даже не сразу узнала его — это был голос мамы.

— Не знаю, не знаю, не знаю, как дышать... Я как будто разучилась быть честной, разучилась быть верной. Однако этому ведь невозможно разучиться? Нидаль... Скажите, почему вы перестали лечить людей? Не потому ли, что нас... нас... невозможно вылечить?

— Милая, и я не знаю. Я перестал лечить людей, потому что понял, что те, кого я лечу — лучшие версии нас. У этого нет причины, которая затрагивала бы человека. Вита, вам пора бы... начать жить. Вы уже достаточно отгоревали, и вы не обязаны любить мужчину, который не живет на Земле уже...

— Как вы смеете так говорить! Он жив, он всегда жив, он во мне! Вы отвернулись от людей: вам ли понимать, что такое вечная нежность?

— Я и не претендую на это, Вита. Я всего лишь верю в то, что каждый человек не должен отворачиваться от счастья.

— Но мне так больно!

— Вита, ваша дочь уже поднимается...

Я облокотилась спиной на дверь и медленно, не расслабляясь, съехала вниз.

— Мне иногда кажется, что если я забуду о том, что обещала ему, вся моя жизнь окажется лишь фильмом, нет, дешевым мультимом. Мультимом, который как бы все это время был не про меня, понимаете? Вот от чего страшно. Как мне страшно, Нидаль! Каждую ночь я просыпаюсь от воя, мертвенно-хриплого и такого острого, что он распарывает мне желудок.

Оказывается, мама так страдала! Мы потеряли папу пять лет назад, и она до сих пор не сняла обручальное кольцо и не убрала его подушку в спальне. Я не выдержала, поднялась и открыла дверь.

— Это вода для Ошер.

Мгновение, за которое мамино лицо снова стало тепло-розовым, таким, каким я его знала, растянулось до нескольких минут.

— Вита, это вода для Ошер, — повторил Нидаль.

Когда мы захлопнули дверь, на нашей одежде и на шерсти Ошер какое-то время еще хранилась частичка комнаты Нидаля, который каждое утро предлагал чай хозяевам пациентов — тем, кого он выбрал когда-то не спасать.

#4

В гостиницу шли через рынок. Мама взяла Ошер на руки: она несла самое родное, что у нас было. Я решила пойти медленнее, остановиться у мороженщика и все-таки найти кулончик из моего сна. Фалафель, иерусалимский бублик бейгелах, кипы, се-

режки из поддельного серебра и синтетического опала, шарфы с распушенной перламутровой нитью, соль с Мертвого моря — рынок Махне Иуда был шит из пестрых цветов, резких запахов и смуглых теней платков.

Я остановилась около лавки, где продавали подсвечники и фруктошницы в форме граната, сделанного из мелких осколков керамики. Пока я перебирала пальцами предметы на прилавке, торговец, толстый марроканец, одетый в плотную синюю тунику с капюшоном, не сводил с меня глаз. Я попробовала сделать свои движения небрежнее, однако он продолжал смотреть. Это отвлекало и совершенно не способствовало ни приближению к моей цели, ни чему-то другому.

Я вышла из лавки и увидела в проходе рынка спину мамы с Ошер на руках. Они не успели далеко уйти. Ускорив шаг, чтобы их догнать, я очутилась возле небольшого шатра, разбитого посреди рыночного прохода. Раньше мы его здесь не замечали. Мысль, что в шатре могут продавать украшения (а ведь, согласно правилам моей игры в поиск вещей из снов, сегодня мне были нужны именно они), заставила меня туда зайти. Я помахала рукой маме и приоткрыла ситцевую аляповатую ткань платка.

Торговцы, четверо худых эфиопов, не обращали на меня внимания, и я осталась. Внутри было влажно и пахло морем. На невысоких нарах, практически на полу, были разбросаны предметы без ценников.

— Шук а пишпишим, — с акцентом бросил мне один из торговцев. На иврите это означало «блошинный рынок».

Украшений было много. Рядом с кулонами из янтаря и малахита лежали неогранные самоцветы. В углу шатра стояла фиолетовая лавовая лампа, отчего ситцевые дрожащие стены были окрашены в сиреневый цвет. Среди кулонов не было изделий той формы и цвета, которые я искала. Но в конце низкой импровизированной витрины я заметила звезду Давида из небесно-бирюзового опала — как раз такую, какая была мне нужна — и осторожно потянула за предмет рукой. Это оказалась довольно большая вещица, а вовсе не украшение. Моя рука держала костяную трубку, по форме напоминающую коровий рог нежно-серого цвета, такого, в какой окрашивается небо в российской глубинке после затяжного дождя. Один конец рога был шире другого, а второй — настолько узким, что в приглушенном свете лампы едва ли можно было заметить маленькое отверстие-раструб. «Для чего же она?» — не успела подумать я, как эфиоп, и без того темный, казавшийся раскаленным куском угля при свете лавовой лампы, лениво посмотрел в мою сторону:

— Это болеконвертер, — сказал он.

— Что?

— Болеконвертер. Конвертирует боль.

Трое других торговцев переглянулись и засмеялись. Засмеялся и первый. Вскоре один из них добавил:

— Если вам интересна очередная сказка, — и нарочито осмотрел все безделушки, которыми полнился шатер.

Прожив в Израиле уже столько лет, я все еще плохо понимала шутки на иврите. Сейчас же было очевидным то, что такая фраза была намеком, что каждая вещь на рынке в Иерусалиме (да и, похоже, на каждом восточном рынке) хранила в себе глубокую и яркую, но емкую предысторию, которая упорно просачивалась сквозь эмаль, железо, ржавчину, кость или почерневшее серебро.

— Конвертер? — переспросила я.

— Совершенно верно.

— Есть легенда, — перебил другой торговец, — о девушке, которой очень хотелось забрать чужую боль.

— Ей просто казалось, что она может это запросто пережить. Болеконвертер конвертировал страдания каждого, кого она выбирала, в такой вид боли, который этой девушке было бы легче всего «переварить», — обернулся третий торговец, все это время стоявший к нам спиной и полирующий, сгорбившись, чайные ложки темно-зеленой пастой гои.

Я снова посмотрела на трубку и повертела ее в руках. На красивом, нежно-сером материале (как мне нравился такой цвет!) виднелись едва заметные буквы с огласовками. То, что было написано, разобрать было невозможно.

Торговцы стали переговариваться между собой на своем родном языке (я тоже переключалась на русский в любую свободную минутку), и на некоторое время моим вниманием завладели подсвечники из кусков соли Мертвого моря, которые сияли приглушенными, мягкими цветами.

Я вновь опустила взгляд на трубку. В ней было что-то, что радовало меня. Нет, больше того, в ней было нечто, что казалось мне родным. Подобные мысли непременно посещали тогда, когда после долгих поисков я наконец находила тот или иной предмет из своего сна. Не помню даже, когда я затеяла с собой эту тайную и нелепую игру.

— Если так, то каким образом он конвертирует боль? — снова спросила я торговцев на иврите.

— Рецепта нет, — улыбнулся эфиоп с чайными ложками. — Говорят, нужно только очень сильно этого захотеть. Но он работает не у всех.

— Короче, один конец трубки, вот видите, широкий, — мужчина прикоснулся к рогу и провел мизинцем по раструбу, — нужно направить на того, у кого забираете, а узкий, эту едва заметную дырочку, — на того, кто принимает, то есть на себя.

— Девушка, но это всего лишь сказка.

— Да что ты ей рассказываешь, говорю же, он работает не...

— Я куплю у вас болеконвертер.

Я вышла из шатра без ста тринадцати шекелей в рюкзаке и кулончика из бирюзового опала.

#5

Ошер медленно, то и дело вздрагивая, пила из миски. Мы растолкли антибиотики столовой ложкой и смешали с лакомством, которое она ела. Мне вспомнился эфиоп с чайным сервизом в сиреновом свете лампы. Зачем он натирал и без того блестящие ложки пастой? Может быть, хотел беспрестанно трогать руками сказки, спрятанные в них?

— Дочь, я постираю рюкзак? — крикнула из ванной мама.

— Конечно!

Я посмотрела на Ошер. Мы любили ее. Эта любовь была запечатана в каждом шраме под густым слоем шоколадной шерсти, в каждом наклоне мордочки к миске. Я плохо помню, но все-таки помню, когда меня любил мужчина. Каждую секунду я как будто была наполнена горячей светящейся субстанцией: она сочилась из-под моей кожи, оставаясь на всем, до чего я дотрагивалась в те годы. Так теперь мне очень нравится хумус — но не потому, что мозг находит приятным его вкус, а лишь потому, что было время, когда я делала хумус, будучи очень счастливой. Помню, как любили и маму. После смерти папы много мужчин пытались быть ближе к ней. Но это была односторонняя, изуродованная любовь, потому что она отторгалась.

— Можно мне выложить то, что у тебя в боковом кармане? А что это за рог? Это инструмент такой? — прервал меня родной голос из ванной.

— Ой, мам, это я на рынке купила. Сейчас сама заберу, — ответила я и ненадолго отошла от Ошер, которая уже поела и лежала совершенно по-человечьи: перевернувшись на спину и положив лапки накрест на свои бока.

Зеркало в ванной, напротив которого, полусогнувшись, стояла мама, было забрызгано грязными каплями шампуня, смешанного с водой и пылью со дна рюкзака. Я взяла трубку, которая лежала на раковине, погладила маму по спине и осторожно приподняла.

— Мам, давай я сама домою. И заодно все лишние вещи отсюда заберу.

— Спасибо, доченька.

— А рог я в шатре у эфиопских торговцев купила, вы с Ошер мимо него проходили.

— Да, я видела этот шатер, — ответила мама. — Они разбивают его каждый август, там... Те эфиопские торговцы, среди них...

— Кто среди них, мам?

— Мы разговариваем с ним каждое лето. Он напоминает мне твоего отца.

— Один из торговцев?

— Он спрашивал меня, — не замечая вопроса и трогая ногтями грязные брызги на зеркале, продолжила мама, — он спрашивал, вернее, звал меня на чай. Жестикულიровал своими крепкими сильными руками, и я хотела... О, как я хотела пойти с ним на чай! Но мне кажется, что произойдет что-то непредвиденное и очень болезненное, если я сделаю это.

— Если ты всего лишь поговоришь с ним, мам?

— Да, будто тогда я убью что-то в себе!

— Ты мучаешься, мам? Я слышала, ты говорила Нидалю...

— Нидаль... Когда-то давно, когда у нас с твоим папой не было детей, он помогал нам. Но он больше не лечит людей, и, кажется, с ним произошло то самое, чего я так боюсь допустить в себе. Ты единственное, что помогает мне чувствовать землю под ногами. Но что-то во мне так хочет хоть раз потрогать эти руки... Я столько лет изучаю поэзию — самую сердцевину человечности, по крайней мере, как мне казалось в молодости, — но все еще не поняла, где во мне кончается человек и начинается новое, бесчестное и неверное твоему отцу существо. О, как я ненавижу себя за это!

Мама опустила на колени. Я положила ладонь на ее золотые волосы, а на спину опустила другую руку, ту, в которой все еще был рог. Я почувствовала, как мама бесшумно всхлипывает, по тому, как вздрагивали ее лопатки. Наклонившись поцеловать ее, я еще раз провела широким концом трубки по ее спине. Сделав так несколько раз, я хотела приподняться, чтобы помочь ей встать, как вдруг что-то острое пронзило мою грудь и живот так, что я еле удержалась на ногах. Я вскрикнула и облокотилась всем своим весом на сидящую на полу маму.

— Дочь, смотри, какой смешной рог! Это же коровий, да? — мама встала и смотрела на меня как ни в чем не бывало.

— Коровий... Я же сказала, что купила...

— А! В том пестром, восхитительном шатре.

Мама смеялась и снова светилась тем тепло-розовым светом, какой я заметила у нее в квартире Нидаля, впервые узнав, что Ошер лучше.

— Давай рюкзак домою и пойдем что-нибудь вкусненькое поедим, что думаешь? Я так рада, что у Ошер все удачно прошло!

Я посмотрела на маму, которая уже отложила в сторону чистый рюкзак, на брызги на зеркале, на мамины золотые волосы, на трубку, которую я, сама того не замечая, до сих пор держала в правой руке. «Болеконвертер! — пронеслось в моей голове голосом того худощавого, веселого эфиопа. — Конвертирует боль. Один конец трубки — на того, у кого забираете, а узкий конец на того...» Господи! Неужели все-таки эта дурацкая трубка...

— Мам, как ты себя чувствуешь? — спросила я.

— А как я должна себя чувствовать, доченька? Несмотря на то, что мы обе так волнуемся за Ошер, мне без меры нравится Иерусалим. Как тебе мое предложение погулять?

В ванную вошла Ошер. Она понюхала трубку в моей руке, прильнула к маме и бессмысленно завиляла тем местом, где должен был быть хвост, приглашая нас выйти и налить ей еще воды. Ей действительно стало лучше, настолько, что мы могли не бояться оставить ее одну на несколько часов. Мы с мамой вышли на улицу.

Я не могла унять недоумение от произошедшего в ванной. Мы шли по дороге, на которой не было камушка, который бы ни лишился всех своих каменных чувств от чьих-нибудь торопливых шагов. Я все еще сжимала костяную трубку в руке, а мой живот распарывала ноющая, изнуряющая боль.

#6

Когда мы вышли из ворот старого города, было уже за полночь. На пяточке, где днем продавали бейгелахи, стоял запах кунжута и затра. Мы ужинали в вегетарианской забегаловке: там продавали питы из полбяной муки, смазанные тхиной и начиненные жареной цветной капустой. Боль в моем животе исчезла, что, вполне возможно, было связано с легким ужином. Вскоре после того, как мы прошли несколько километров вдоль трамвайных путей, насквозь пронизывающих Иерусалим, нам оставалось лишь свернуть к рынку — и мы стояли бы прямо под нашим железным балконом.

Ночью торговая улица базара Махне Иуда превращается в бары: прилавки становятся столиками с высокими табуретами, а вывески над лавками — ориентирами для свиданий. Мы завернули в освещенный множеством фонарей проход и остановились в изумлении: он сиял всеми цветами радуги. От каменных рыночных стен отражались звуки голосов и звяканье стаканов. Некоторые магазинчики, открытые обычно днем, работали: например, лавка сладостей и киоск с испанским чурросом.

Рядом проходили знакомые торговцы, только сейчас они были одеты в другую одежду: она, какой бы ни была, делала их менее экспрессивными и суетливыми. Мимо нас пронеслась ватага мальчишек, легонько коснувшись маминых плеч льняными туниками. Воздух стал непрозрачным и алюминиево-серебристым, и мне на мгновение показалось, что в нем, как в зеркале, можно отражаться. Мама оживленно разговаривала с хозяйкой ночной кофейни, где кофе варили на песке. Вдруг совсем близко я услышала всхлипывания, низкие по тембру и короткие, какие мог издавать только мужчина. Я стала вглядываться в толпу.

Первое, что я заметила среди лоскутов чужих загорелых лиц — были длинные рыжие ресницы. Когда между мной и парнем с кипой оставалось менее метра, он поднял на меня влажные металлические глаза.

— Как рыжая рыжему, — сказала ему я и кивнула на кружки пива, стоявшие на барной стойке ближайшего паба.

— Почему бы и нет, — ответил он.

Мы взяли две кружки имбирного эля (слово «рыжий» на иврите, как и во многих других языках, имеет один и тот же корень со словом «имбирь» — аналогия, которую мы не могли упустить) и сели на высокие деревянные табуреты.

— Я могу чем-то тебе помочь? — спросила я и провела рукой по вчерашнему ожогу на своей щеке.

— Ты не отсюда? — спросил он в ответ.

— Из Хайфы, — ответила я и коснулась губами пенки имбирного пива, посмотрев на своего собеседника исподлобья — Я здесь с мамой. Разве по мне не видно, что из Хайфы?

— Смешно, наверное: такой большой, а плачу. В университет хочу поступить, в Технион, знаешь? — рыжий парень посмотрел в сторону и добавил: — Нет, не видно, что из Хайфы.

— Технион? Круто. А почему не поступаешь?

— Папа хочет, чтобы я стал хозяином его лавки с мороженым...

— И испанским чурросом?

— Ага. Банальщина такая. Какие фильмы про подобную ситуацию только не снимали, какие книжки только не писали. А я в нее — зная все это — влип.

— А ты не можешь, ну, поговорить с папой?

— Я пытался. И буду пытаться, конечно. Но... Я переживаю очень. Не знаю, наступит ли день, когда я смогу разговаривать об этом спокойно — отец ведь только так готов, — а поступление уже в августе...

— Переживаешь? Но что изменится, если не поступишь? Можно же будет поступить на следующий год.

— Нельзя. Если я стану хозяином этой дурацкой лавки, то мне придется...

Парень в кипе отвернулся, и я почувствовала, что знаю, откуда-то очень хорошо знаю то, с какой силой переживания наполняют его до самых кончиков рыжих густых ресниц. Я опустила руку в сумочку, чтобы взять телефон и написать сообщение маме, спросив, где она, но нащупала вытянутый гладкий предмет. Несколько секунд удивления сменились тем, что я вспомнила о роге, который случайно унесла с собой из гостиницы. Недолго думая, я достала рог и, поддаваясь неопределенному, бесстрашному порыву, направила широкий конец трубки на своего рыжего собеседника.

— Пожалуйста, будь счастлив, — сказала я и добавила что-то менее внятное: — Я не знаю, о чем ты мечтаешь, но знаю, как сильно ты беспокоишься.

Сидя на деревянном табурете, я сжалась, будто пыталась протиснуться сквозь него, дойдя до самого центра Земли. Я пригляделась к маленькой дырочке на конце рога, которая была направлена на мою переносицу. Помню, как где-то читала, что люди открыли субстанцию из углеродных нанотрубок, самый черный цвет из всех возможных — вантаблэк. Такого же цвета было и это отверстие размером с ушко иголки. Внезапно парень с кипой вскочил, выплеснул эль и неожиданно, как для себя, так и для меня, обнял меня за плечи.

— И почему я раньше об этом не подумал! Как будто в духоте какой-то находился! Не мог понять, что всегда могу спросить совета и у мамы тоже. Прямо как ты сейчас!

Он уставился на телефон в моей руке, на экране которого был открыт чат с мамой и краснели несколько пропущенных звонков.

— В Хайфе нет свежего ветра, но ты мне его привезла, — продолжил рыжий. — Спасибо, солнышко! Если бы не тот безмозглый торговец куббе, я бы тебя не встретил. Не пойму, что именно так затрудняло мне дыхание...

Не успел он это договорить, как я ощутила легкое покалывание, которое сороконожкой пробежало по моему предплечью. Я настолько оторопела, что не заметила маму, приближающуюся к нам.

#7

Покалывание в руке очень быстро прошло. В утреннем солнце с балкона гостиницы «Шук» были видны не только крыши рынка, но и несколько заброшенных голубятен. Птиц в них уже никто не разводил, зато подростки облюбовали эти места как смотровые площадки: откуда, как не с них, лучше всего просматривались главные улицы Иерусалима и каменная мостовая к Яффским воротам старого города? Однако горли-

цы, хилые коричневые птицы, залетали чуть ли не на каждый балкончик, на котором росли цветы. Одна из них приземлилась прямо в посаженные в горшке петунии на нашем балконе. Ошер почуяла незнакомый запах и прибежала ко мне. Горlinkка испугалась и начала беспорядочно хлопать крыльями, ударяясь то о черные железки, обрамляющие балкон, то об мои ноги. Наконец найдя выход и взлетая, она задела крылом хвост Ошер, вернее, то место, на котором его ампутировали. Не вытерпев даже такого, едва ощутимого, прикосновения, Ошер взвыла. Было видно, что ее тело после операции чересчур восприимчиво и слабо. Я обхватила обеими руками лохматую собачью голову и положила подбородок ей на макушку. «Рог! — вспомнила я. — Что если я попробую использовать рог на Ошер?»». Сначала такая идея показалась мне странной, а вскоре единственно возможной. До этого момента я применяла рог всего два раза, и оба раза тогда, когда не могла это осознать. Что будет, если я впервые воспользуюсь рогом правильно?

Я чуть слышно приоткрыла балконную дверь: мама еще спала. Впервые за несколько лет я видела ее крепко спящей. Проскользнув к столу, на котором были разложены мамины рукописи, я взяла свою сумку и достала из нее рог. Каждый раз, когда я смотрела на него, не могла понять, что же мне в нем так подходит. Дело было точно не в гладкой глянцевой поверхности или головокругительном нежно-сером цвете — дело было в чем-то другом. Меня охватило чувство, словно я никогда не выпускала рог из рук — только тогда, оказавшись у меня впервые, он был не костяным, а воображаемым. И все-таки ощущать родство с вещью было для меня чем-то неприличным, чем-то табуированным.

Взяв рог, я вернулась на балкон. Ошер так и осталась стоять, протянув голову к тому месту, где несколько минут назад были мы с ней. Снова наклонившись к лохматой мордочке и осторожно приподнимая раструб, чтобы не напугать Ошер, я приложила широкий конец рога к ее лбу. На нем росла темно-коричневая шерсть, взбитая и разлохмаченная иерусалимским ветром. Узкий конец рога я, как всегда, направила на себя. Ошер то и дело поскуливала и поджимала нижнюю часть тела, на которой раньше находился хвост. Прошло десять или пятнадцать минут, но ничего не получилось.

Не получилось.

Из комнаты донесся писк кофемашины — единственного предмета, который стоял на столешнице рядом с раковиной. Значит, мама заваривала кофе. Ошер засеменила к миске, а мы сели на деревянные стулья напротив кровати.

— Как ты себя чувствуешь, мам? — спросила я.

— Хорошо, доченька, а почему ты спрашиваешь? Главное, как Ошер. Ты у меня такая заботливая.

Мама встала, обошла мой стул и обняла меня за плечи сзади. На секунду я как будто забыла все, что с нами происходило — каждая клеточка моей кожи слилась с маминими прикосновениями.

Меня осенило. Новый год! Вот ключ к разгадке того, почему болеконвертер сегодня не сработал. Я вспомнила об этом только потому, что мама точно так же прижимала меня к себе каждую новогоднюю ночь — это было одно из моих первых детских воспоминаний. Под бой курантов загадывают желания. В детстве я пыталась сделать этот процесс результативнее и придумывала способы, которые позволили бы рассказать Вселенной о том, что хочется, как можно яснее. Описывать свое желание одними лишь словами наскучило очень быстро. Вскоре я придумала новый способ. Во время боя курантов я прикладывала все усилия, чтобы хотя бы за эти двенадцать ударов войти в то состояние, которое я хочу испытывать тогда, когда мое желание уже исполнится. Таким образом, я действовала по очень простой формуле: говорила

не описаниями: «Вселенная, хочу вот это, а еще вот это», а действиями: «Смотри, я чувствую себя такой счастливой в эту минуту, а хотела бы чувствовать себя такой всегда. Устрой это, пожалуйста». Мои новогодние желания всегда исполнялись.

Я поцеловала мамину руку, схватила рог и подошла к Ошер, стоявшей у миски.

— Я хочу, я хочу... Чтобы ты не страдала! Чтобы ты не чувствовала ни капельки мучения из-за того, что тебе убрали хвостик! — закричала я.

Мама смотрела на нас с изумлением.

Проговорив это, я легла на пол и прижалась всем телом к Ошер. Зажмурив глаза так, будто веки вот-вот распорют мои щеки, я как можно более отчетливо представила себя до краев наполненной волей к жизни, такой, словно у меня атрофировалась любящая возможность испытывать боль. Я изо всех сил старалась передать это чувство Ошер.

Ошер вырвалась из моих объятий с залиvistым лаем, и у меня потемнело в глазах.

#8

Пора было уезжать. Наш поезд в Хайфу отходил от железнодорожной станции второго августа в шесть часов утра. Мы проснулись в четыре, чтобы проследить за состоянием Ошер и только потом отправиться в путь.

Ошер была здорова. А я, с трудом поднявшись с кровати, еле дошла до раковины, чтобы умыться. У меня болели бедра и поясница, мешая нормально ходить. Почистив зубы и присев на кровать, я подскочила от телефонного звонка. Маме звонил Нидадь.

— В четыре утра? — успела прошептать мама и ответила, включив громкую связь и снова уткнувшись носом в подушку.

Нидадь говорил тихо.

— Вита...

Он сделал паузу. На мгновение показалось, что сквозь трубку слышно не тишину, а какой-то другой, инопланетный, поглощающий сам себя звук.

— Вита, у меня погиб сын.

Вторая пауза тотчас же стала земной, очень знакомой.

— Я... впервые не знаю, что делать.

Мои раздумья длились секунду. Не обуваясь, я бросилась к входной двери.

Я бежала босиком по горячему иерусалимскому асфальту, сжимая рог в руке. Навстречу мне шли люди, но я не видела в них людей: все они были лишь сгустками боли, сетками безотчетных, спутанных эмоций. Я бежала и знала, что могу забрать несчастье каждого из них. Только отдайте мне ваши муки, позвольте мне их забрать! Разве вам не известно, что для меня страдания — это лишь покалывание в руке или ноющий ночью живот? Не проще ли станет мир, если вы передадите все плохое той, кто быстрее всех сможет это пережить?

Распахнув не запертую на ключ дверь, я за долю секунды оказалась возле стоявшего у окна Нидаля и прижала к его груди влажный от пота моих ладоней рог. Не отдавая себе отчета в том, сколько проходит времени, я находилась рядом до того момента, пока Нидадь не двинулся с места.

Как только он это сделал, я упала без сил.

Меня разбудили боязливые прикосновения маминых обветренных губ, писк кофемашины и радостный визг Ошер.

— Мамочка, сколько времени? Мы же опаздываем на поезд... — вполголоса произнесла я.

— Доченька... — прижимаясь лбом к моим ключицам, смогла прошептать мама.

— Сколько времени?

— Три ночи.
— Три ночи?
— Вчера я забрала тебя у Нидаля. Ты... Тебе было очень плохо, и мы пролежали здесь весь день.
— Сегодня третье августа?
— Да.
— Боже мой, целый день... Почти сутки ушло на то, чтобы болеконвертер...
— Доченька, про что ты говоришь?
— Это все так неважно, мам. Главное, сейчас все хорошо. Я люблю тебя.
— И я люблю тебя. Я так волновалась!
— Мамочка...
— Ты расскажешь мне, что произошло? Это Нидаль виноват? Зачем ты к нему ходила?

Вместо ответа я снова провалилась в сон, а через несколько часов, когда мне легчало, мы собрали рюкзаки и отправились на вокзал, чтобы уехать в Хайфу на ежедневном утреннем поезде.

#9

В половину шестого город снова стал изящнее. В этот раз бледно-розовая линза, опущенная чьей-то большой рукой на крыши домов, была мутнее. Устремив взгляд на рельсы, я казалась себе до того легкой, что меня подхватывал слабенький поток воздуха, надрезанного приближающимся поездом. Я чувствовала, будто от меня практически ничего не осталось. Вместе с этим я знала, что способна понять все, из чего сотканы миллионы причин страданий тех, у кого мне приходилось забирать боль.

Внезапно Ошер залаяла и натянула поводок, устремившись всем телом в самый конец перрона. В поезд садились девочка с папой, которых мы встретили, только приехав в Иерусалим. Девочка держала в руке все тот же кремовый контейнер, а папа докуривал сигарету перед входом в вагон. Для них наша встреча не значила ничего: они ведь даже не видели меня, пока я наблюдала за той нелепой и ужасной ситуацией, которая произошла на вокзале 31 июля. Я перестала что-то слышать, словно мои уши накрыли двумя ракушками, убеждая меня в том, что совсем скоро можно будет увидеть море — так сильно мне хотелось подойти к девочке.

Я подошла.

На западном склоне горы Герцля, в разломе в скале, стоит музей Яд Вашем — иерусалимский мемориал катастрофы. В «зале имен» изо дня в день собирают фамилии евреев и неевреев, пострадавших от холокоста. Зал выполнен в форме шара, в который можно войти изнутри. Вдоль огромных бетонных стен в проталины фоторамок заглядывают лица уничтоженных людей. Но где-то под куполом стеллаж с фотографиями обрывается, и дальше по кругу идут лишь пустые полки. Страшная, безликая пустота. Будучи в Яд Вашеме, я не раз останавливалась перед этими черными кусками небытия, местами, где должны были быть имена зверски убитых людей — но их пока не нашли. Такая до бесконечности иссиза-темная, безокая пропасть легла передо мной и сейчас, когда я решила подойти к девочке на перроне.

Сжав в руке рог, я, будто на коньках, проскользила по разлинованному в треугольники асфальту. Мой слух до сих пор был притуплен, и я слышала отчетливо только девочкино дыхание. Когда между нами оставалось менее полуметра, я пригляделась. Порез на ее щеке практически затянулся, но зато шею покрыла амарантовая, пузыристая корка. Видимо, за эти четыре дня девочка не давала ранке зажить, расчесывая ее.

Вдруг у одной из женщин среди толпящихся рядом людей, картинно и крикливо провожающих друг друга, выпала из рук плотно набитая холщовая сумка. По всему перрону с глухим шлепаньем рассыпались мелкие, канареечно-желтые яблоки. Девочка истошно вскрикнула и отскочила прямо на меня, наступив на мои сандалии своими крошечными кожаными туфельками. Несколько женщин бросились собирать яблоки в холщовую сумку и мешковатые подола своих одежд; а девочка, не зная, куда спрятаться, чтобы не видеть то, с чем четыре дня назад были связаны ее муки, прижалась ко мне, обхватив мои бедра обеими руками. Я решилась.

Не отнимая руку от ее распаренных волос, я прислонила рог к шраму на шее. Прекрасно понимая, что сердцевиной ее страдания был не этот конкретный шрам, а испуг, прожигающий насквозь, я представила, что отдаю ей все свои добрые воспоминания, забирая тот эпизод, который случился с нами на станции. Это должно было быть несложно. Я справлялась с болью восемнадцатилетней собаки, двадцатилетнего парня, сорокалетней женщины и пожилого мужчины, потерявшего сына, — что стоило мне поглотить и эту малюсенькую боль?

Через минуту девочка высвободилась из моих объятий и удивленно улыбнулась. Так улыбаются тогда, когда знают, что совсем скоро им будет еще уютнее, чем сейчас. Мне начинало становиться хуже. «Все идет правильно!» — успела подумать я.

Вдруг все вокруг стало ярче, чем раньше: мой слух и зрение резко обострились. Я почувствовала себя так, будто в меня безболезненно впрыснули энергию мягким шприцом. Подобное можно испытать после первого глотка кофе или прыжка в жару в холодный бассейн. Девочка, наоборот, съежилась, схватила за животик и упала. За мгновение я подняла ее, снова прижала к себе и приставила рог к пульсирующей шее. Я старалась вытянуть, с усилием хищника забрать у нее страдания, и наконец они поддались. Возникла адская, нестерпимая на Земле тяжесть в животе. Я чувствовала, будто мала этой боли, и рвалась от нее. Я ударилась затылком о разлинованный в треугольники асфальт. Женщины в балахонистых синих юбках накрыли меня шарфом из маминых ладоней и девочкиного дыхания.

Девочкина боль не вместилась в меня.